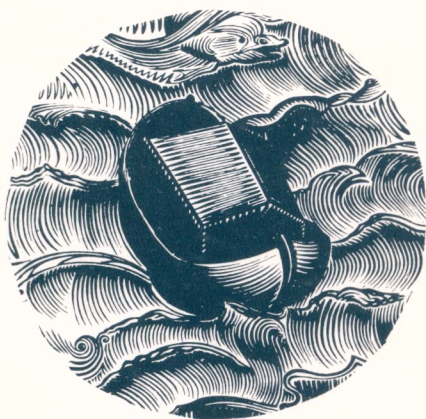


ИЗБРАННАЯ ПОЭЗИЯ

ОСИП
МАНДЕЛЬШТАМ



ymca-press

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Составил Н. А. Струве
по указаниям Н. Я. Мандельштам

YMCA-PRESS

11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève, 75005 Paris

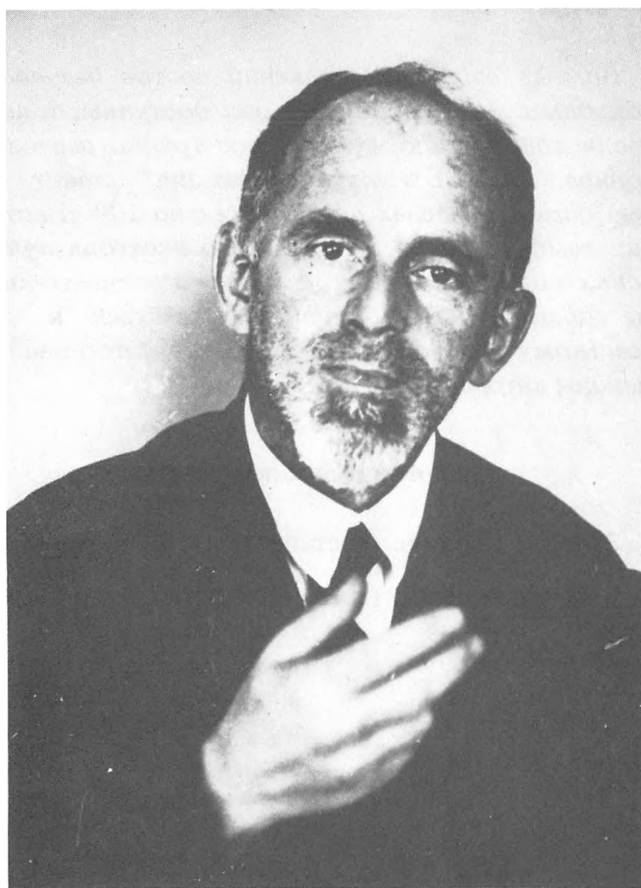
Обложка работы А. Ракузина
(использована гравюра В. Фаворского)

ISBN 2-85065-034-X
© 1983 Ymca-Press.

Полные собрания сочинений поэтов безусловно необходимы. Но не каждому они доступны, и часто, за полнотой, широкому читателю трудно распознать основное. Серия "Избранная поэзия" ставит себе целью дать в пределах приблизительно 100 стихотворений самое главное из широкого наследия лучших русских поэтов. Для поэтов XX века составители, по мере возможности, будут приближаться к тому "идеальному" выбору, который соответствовал бы желаниям автора.

Готовятся к печати:

2. Зинаида Гиппиус (составитель Т.В. Пахмус)
3. Борис Пастернак (составитель Л.С. Флейшман)



D. Mangerbutskii.

1933 г.

СУДЬБА МАНДЕЛЬШТАМА

Если сорвать покров смерти с этой творческой жизни, она будет свободно вытекать из своей причины — смерти, располагаясь вокруг нее, как вокруг своего солнца, и поглощая его свет.

О. Мандельштам, П у ш к и н
и С к р я б и н.

— и в отдаленьи
Чистый голос: "Я к смерти
готов".

А. Ахматова, П о э м а б е з
г е р о я.

Многие пишут совсем неплохие стихи, но много ли истинных, больших поэтов?

Чтобы быть поэтом, размер, рифма, образ, даже если владеть ими в совершенстве, — недостаточны, нужно другое, нечто большее: свой, неповторимый, голос, свое, незыблемое, мироощущение, своя, никем не разделенная, судьба.

В начале поэтического поприща все эти три слагаемых стоят в свободной взаимосвязи. Голос предпо-

лагают идею, идея не существует без голоса, они рождены одновременно из того же духовного центра, но полагаются отдельно и ищут друг друга. Судьба производна от них: соприсутствуя голосу-мироощущению как их свободное самоопределение, она до времени стоит поодаль, ждет своего часа. Крепнет связь между голосом, идеей и судьбой: поэт растет. Сливаются все три в одно нераздельное целое: человек умирает — поэт рождается навеки.

* *
*

Пушкин и Лермонтов "под дулом пистолета", наложившие на себя руки Есенин, Цветаева, задохнувшийся на пороге славы Анненский, Блок, умерший потому что "дышать нечем", исстрадавшаяся Ахматова, погибшие Гумилев и Мандельштам — жертвы не случайного рока, а собственного голоса, самих законов поэзии.

Баратынский, даже в самые свои благополучные годы, неотразимо чувствовал сокрытое в поэзии жало смерти:

... боюсь я,
Чтоб персты, падшие на струны,
Не пробудили бы перуны,
В которых спит душа моя.

И отказом от нее думал уберечь свой мир:

И говорю: до завтра звуки,
Пусть день угаснет в тишине.

Единственным великим русским поэтом, избежавшим трагического конца, был Тютчев. И это не случайно. Из всех поэтов Тютчев наиболее вне-временный, экстатичный. Он настолько выходит из мира, что столкновение между ним и миром — невозможно. Тютчев нес трагедию в самом себе, в мучительном раздвоении между ночью и дневным покровом, наружу она не проступала. Символисты принадлежали к тому же роду: от времени и мира они уходили кто в монахи (Эллис), кто в теософию (Волошин, Белый). Один Блок прикоснулся к истории и принял смерть от нее.

* *

*

Еще больше чем символистам, Мандельштам противоположен Тютчеву, хотя и соприкасается с ним в исходной точке. Главным врагом Тютчева были *пространство и время*. "Никто, я думаю, и никогда, — признается он, — не чувствовал себя более ничтожным, чем я перед лицом этих двух угнетателей и тиранов человечества". Мучительно страдая от них, Тютчев находил освобождение только в редкие минуты ночных видений — выхождением из себя.

В ранних стихах Мандельштама, о которых Ахматова писала "они хороши, но в них нет того, что мы называем Мандельштамом", чувствуется близость к Тютчеву. Запоздалый символист тоскует в призрачном мире и ищет выхода. Воплощение музыки, как и Тютчеву, кажется ему изменой. Прорваться ввысь

не дано: неживой небосвод отражает ту же призрачную реальность:

Темных уз земного заточенья
Я ничем преодолеть не мог.

Бессильному порвать узы оставалось только одно: поцеловать их. Освобождение пришло внезапно и бесповоротно: не выхождением из мира, а бурным вторжением в поэзию времени и пространства, не как угнетателей человечества, а как творческих основ бытия.

И покинув корабль, натрудивший в морях
полотно,
Одиссей возвратился, пространством и време-
нем полный.

С 1912 года Мандельштам выходит в открытое море, начинает свое плавание по всем измерениям времени и пространства. Прошедшее, настоящее, будущее, длина, широта, глубина — таковы отныне координаты его поэзии.

С необычайной легкостью Мандельштам шагает через века: высшие достижения человеческой деятельности не становятся, как у Брюсова и даже Вячеслава Иванова, в мертвый ряд музейных ценностей, а весело перекликаются друг с другом, "по-домашнему аукаются". Крит, Эллада, средневековье, ренессанс, музыка, живопись, литература, "через головы столетий", не только не чужды друг другу, но в буквальном смысле современны. Гомер в Тавриде, Флоренция в Москве. "Не веря в разлуку", Мандельштам непринужденно раскланивается с Батюшковым, беседует с Ламарком.

”Время есть содержание истории, понимаемой как единый синхронистический акт; и обратно: содержание истории есть совместное держание времени — сотоварищами, сооткрывателями его”. Сказано это Мандельштамом о Данте, но применимо прежде всего к нему самому.

Поэзия культуры у Мандельштама совершенно свободна от исторического груза: она всевременна.

Беззаботно, с благодушным юмором, Мандельштам принимает и все то новое и неожиданное, что приносит с собою река времени. У него нет отталкивания от новейших форм цивилизации: ”Корабль вечности и есть корабль современности”. Вместе с Баратынским, но в ином, не нравственном, а онтологическом смысле, он мог бы сказать: ”Нет на земле ничтожного мгновенья”. Нет и ничтожных явлений: месмерический уют, электрическая мельница, теннис — не менее реальны, чем древний кувшин или аттический солдат, следовательно, они не менее достойны жить в поэзии. Как его учитель, Франсуа Виллон, Мандельштам сообщает массу точных сведений, умеет вырвать ”настоящее мгновение из почвы времени, не повредив его корней”. Его поэзии, насыщенной современностью, не суждено стареть.

Если время созидает не как снежный ком, а как семя, — значит оно имеет свою неподвижную сущность. В поисках первоосновы Мандельштам не вырывается из временного ряда, а опускается в глубинный его слой, где время воспринимается как сплошная непрерывность, протяженность, неподвижность (Бергсоновская *durée*). Как никто, Мандельштам умеет останавливать время, уловить зияние, выразить длительность:

Жуют волы и длится ожиданье...

Протяженность Мандельштам передает, пользуясь всеми поэтическими орудиями: образами, долгою гласных, удлинённой цезурой, шестистопным дольником, а иногда и еще более длинным размером.

Поэзия Тютчева — глубь ночи, поэзия Мандельштама — вечный полдень.

Грубое время измеряется металлической стрелкой часов или таянием воска, время творческое — произрастанием. С той же легкостью, с какой он раздвигает века, Мандельштам плывет вверх по течению времени:

Время вспахано плугом, и роза землю была...

Поэзия анамнезиса свободна от груза воспоминаний, так как восстанавливает живую, священную связь событий.

Не потому ли голос Мандельштама так часто звучит пророчески? Даже в своих ранних историко-литературных статьях Мандельштам, помимо себя, пророчествует о себе — настолько, что его биографию и творческий путь можно восстановить из разных кусков этих статей.

* *

*

У Тютчева пространство "поглощает и уничтожает вас с телом и душой". Мандельштам же смотрит на трехмерное пространство "не как на обузу и на несчастную случайность, а как на Богом данный дворец": в нем всецело размещаются бесчисленные предметы и краски, все разнообразие мира. От стихов Мандель-

штама всегда "пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала".

Излюбленные его образы — звери, птицы, рыбы, насекомые, камни; поэзия Мандельштама как бы развернутый 103-й псалом, библейский гимн творению. Пожалуй, со времени Пушкина не было поэзии более жизнеутверждающей, более телесной. Но телесность у Мандельштама, как и у Пушкина, не прикреплена к земле; она окрылена духом.

"Яблоко, хлеб, картофель — отныне утоляют не только физический, но и духовный голод". Вещь — психея, она имеет душу.

В этом своем мироощущении Мандельштам верен гению еврейского народа.

"Еврей верит в невидимое. . . но хочет, чтобы невидимое стало видимым и проявило бы свою силу; он верит в дух, но только в такой, который проникает все материальное, который пользуется материей как своей оболочкой и своим орудием. Не отделяя духа от материального выражения, еврейская мысль тем самым не отделяет и материю от ее духовного и божественного начала".

Эти пронизательные слова Владимира Соловьева — ключ к пониманию Мандельштама. Их можно продолжить: для еврейского мирозерцания, как в материи присутствует дух, так и во времени содержится вечность, Богооткровенное мышление еврейского народа вело к Боговоплощению, как к предельному слиянию духа и плоти, мига и вневременности. Под влиянием сначала Чаадаева, а затем и других русских религиозных мыслителей, Мандельштам с поразительной легкостью, как нечто само собою разумеющееся, принял и воспринял христианство, став "отщепенцем в своей семье".

Поэзия Мандельштама проникнута христианским благовестием о реальности мира, о целесообразности истории, о "перпендикулярном разрезе", о мирном сосуществовании единства и множества:

Взять в руки целый мир, как яблоко простое...

"Здесь, — добавляет поэт, — должен прозвучать лишь греческий язык". Тот, в ком текла "кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей", находит в эллинизме чувство священного очага, утвари, телеологическое тепло окружающего мира. Но древние греки, не знавшие Христа, безумствовали, натываясь на слепой фатум. Должно было придти христианству, чтоб эллинизм "оплодотворился семенем смерти", понятой не как злой рок, а как "причина творческой жизни".

* *
*

Свое безусловно христианское, одновременно эллино-иудео-христианское, мироощущение Мандельштам выразил всего ярче в докладе "Пушкин и Скрябин", который, к сожалению, дошел до нас в неполной и поврежденной редакции. В нем Мандельштам определил искусство как "свободное и радостное подражание Христу". Раз искупление уже совершилось, искусство "свободно", "ничем не омрачено", оно "радостное богообщение, игра Отца с детьми, жмурки и прятки духа".

Детски-райская душа Мандельштама быть может недооценила трагической изнанки христианской благой

вести. Искупление совершилось, но не завершено. "Мир вместе с художником искуплен", но трагедия в том, что мир не принимает искупления, отталкивается от него, противоборствует ему.

Мечта о золотом веке, своеобразный хилиазм, желание видеть явленную силу духа, проходит через все творчество Мандельштама. В самый разгар первой мировой войны он тешит себя утопией, что

заперев зверей,
Мы успокоимся надолго
И станет полноводней Волга
И рейнская струя светлей.

В страшный 19-й год он вздыхает с меньшей уже надеждой:

О где же вы, святые острова,
Где не едят надломленного хлеба...

Даже перед самой гибелью эта мечта остается, но переходит в область невозможного, давно прошедшего:

Это было и пелось, синяя,
Много задолго до Одиссея,
До того как еду и питье
Называли моя и мое.

Жмурок и прятки духа — мир не допускает. Подражание Христу влечет за собой и подражание Его жертве.

* *
*

Свое христианское кредо Мандельштам изложил, отталкиваясь от теософии, которая, как ему казалось,

способна повернуть время обратно, от христианства к буддизму, от единства личности к дурной множественности сфер. Но не теософия — очередной вариант ухода из истории — была опасна — тогда надвигалась уже другая сила, неизмеримо более страшная и разрушительная. Мандельштам не сразу распознал новую опасность, нависшую над "хрупким летоисчислением нашей эры". По отношению к революции он колебался вначале между да и нет, прельщался порой "социальной архитектурой", подобно тому, как в молодости обольщался внешним единством католического Рима. Но "никогда он Рима не любил", точно так же он быстро почувствовал, что то, "куда мы должны вступить", не тень родного города, а "крыло надвигающейся ночи". Порой его охватывал страх, "не опоздал ли он", он боялся, как бы не остаться ему вне времени, хотя и знал, что время мчалось не вперед, а "обратно, с шумом и свистом, как прегражденный поток".

Но голос-судьба твердил свое:

Чище смерть, соленее беда
И земля правдивей и страшнее.

Уже в ранних стихах смерть казалась единственной проверкой собственной реальности:

Неужели я настоящий
И действительно смерть придет?

В начале же 20-х годов, когда наступали, чтобы раздавить человека, Ассирия и Вавилон, смерть представляла ему как неминуемая печать подлинности всей его духовной сути, всего творческого пути:

Видно, даром не проходит
Шевеленье этих губ,

И вершина колобродит
Обреченная на сруб.

Поэзия священного времени и веселого пространства надламывается, в нее вторгается новая тема: борьба с безвременьем и приготовление себя к смерти.

Мы умрем как пехотинцы,
но не прославим ни хищи, ни поденщины,
ни лжи!

Бесполезно гадать, мог ли Мандельштам избежать своей судьбы. Это значило бы перечеркнуть свой голос, перестать быть самим собой, из Мандельштама превратиться, скажем, в какого-нибудь Асеева.

А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом...
Да видно нельзя никак.

Мандельштам не только не ушел от своей судьбы, он пошел ей навстречу, выбрал ее и овладел ею. Быть пассивной, безличной жертвой, "неизвестным солдатом" колеса истории он не хотел и не мог, и вступил в беспримерный поединок со всем своим временем. Решение созрело в самом начале 30-х годов:

Не волноваться — нетерпенье роскошь,
Я постепенно скорость разовью.
Холодным шагом выйду на дорожку,
Я сохранил дистанцию мою.

В конце 1933 года решение становится действием, Мандельштам бросает вызов миру: пишет и читает друзьям свои гойевские двустушья о Сталине — сам себе подписывая смертный приговор. Тогда же он говорит Ахматовой незабываемое: "Я к смерти готов".

Остальное — развязка. Судьба подарила Мандельштаму еще три года жизни, чтобы дать ему пропеть полным голосом "на разрыв аорты" — и умереть полной смертью. Шевеленье губ, которого никто не мог отнять, преодолевает "полуобморочное житье". Пределы поэтического языка раздвигаются: "Гераклитова метафора", где уже не знаешь, что с чем сравнивается, убыстряет цепь ассоциаций и уплотняет и без того сжатое поле стихотворения. Словарный и звуковой регистр расширяется, в частности за счет народных речений. Все ощутительнее Мандельштам "наплывает на русскую поэзию кое-что в ней изменяя". Воронежские тетради — не спад и не разлад, а вершина творчества: в них сплелись в одно целое божественная игра со страшными заклинаниями смерти. "Горожанин и друг горожан" прикоснулся к земле и в ней почерпнул новые силы для песни и битвы. "Иову, ропщущему на дне своей смрадной темницы", блеснул луч свыше: великолепной, космической, но еще несколько византийской Литургии Петербургского периода соответствует в Воронеже обнаженное чудо видения предголгофной Тайной Вечери:

Небо вечера в стену влюбилось —
Все изранено светом рубцов —
Провалилось в нее, осветилось,
Превратилось в тринадцать голов.

Баратынский, покоя ради, отсылал посещение муз на завтрашний день, и Мандельштам пробовал замедлить исход, принимался за социальный заказ, но бесполезно, так как знал, что свой дар-флейту

невозможно покинуть,
Стиснув зубы ее не унять
И в слова языком не продвинуть
И губами ее не размять.

Идя на жертву, Мандельштам победил смерть и обрел высшую свободу, борясь со временем, он победил безвременье и обрел бессмертие.

С той минуты, как сердце его остановилось, — начался сначала потаенно, затем все ярче и ярче "ска-зочный рост художника". Мыслящее, но обугленное тело "превратилось в улицу, в страну".

Сквозь мрак нищенской, затравленной жизни Мандельштам знал чутьем поэта, что его подвигу, одновременно нравственному и творческому, готовится венец нетленной славы.

В самых страшных своих стихах о терроре, о "миллионах убитых задешево" Мандельштам обмолвился неожиданным признанием: "от меня будет свету светло".

И сегодня, явленный в стихах необыкновенной силы и полноты, разливается по миру свет божественной гармонии Мандельштама, свет его христианского мироощущения, свет его мужества и мученичества.

Слились воедино голос, идея и судьба. Как он сам, того не ведая, еще в 1914 году, не о Скрябине, о себе сказал:

"Он явил пример соборной, русской кончины, умер полной смертью, как жил полной жизнью, его личность, умирая, расширилась до символа целого народа, и солнце-сердце умирающего остановилось навеки в зените страдания и славы".

Никита СТРУВЕ

ОБ АВТОРЕ

Библиографическая справка

Осип Эмильевич Мандельштам родился 3/15 января 1891 года в Варшаве в еврейской торговой семье. Детство провел в Павловске. Окончил Тенишевское училище в Петербурге (1907), учился в Сорбонне (1907—1908) и в Гейдельберге (1909—1910), где занимался старофранцузским. В 1909, через Гумилева, познакомился с Вячеславом Ивановым, Иннокентием Анненским и вошел в круг поэтов, близких к журналу "Аполлон", где его стихи впервые появились в печати (сентябрь 1910). В июне 1911 принял крещение в протестантской церкви в Выборге; осенью поступил в Петербургский университет. В 1912 примкнул к акмеизму. В 1913, за счет автора, вышел первый сборник стихов "Камень" (25 стихотворений; второе расширенное издание в 1916). Летом 1915, гостя у М. Волошина в Крыму, знакомится с Мариной Цветаевой. В 1918 работает в Москве, затем едет на юг, в Харьков и в Киев, где 1 мая 1919 происходит встреча с Надеждой Яковлевной Хазиной, будущей его женой. Затем едет дальше один в Крым, в августе 1920 перебирается в Грузию, а

оттуда возвращается в Москву. В марте 1921 воссоединяется с Н. Я. В 1922 в Берлине выходит сборник стихов "Tristia", и в том же году, в Москве, "Вторая книга", объединившая "Камень" и "Tristia". Стихи 1921—1925 немногочисленны. В 1925 заканчивает книгу воспоминаний "Шум времени". С 1925 по 1930 стихов не пишет. В 1928 выходят сразу три книги: "Стихотворения", сборник статей "О природе слова" и автобиографическая проза "Египетская марка". В 1929, в связи с обвинением в переводческом плагиате, начинается государственно-общественная травля Мандельштама, вызвавшая гневную "Четвертую прозу", в СССР до сих пор не опубликованную. Лирическое вдохновение вернулось осенью 1930, во время поездки в Грузию и Армению. Последняя опубликованная при жизни работа — проза "Путешествие в Армению" ("Звезда", 1933, № 5). В 1933 М. работает над изложением своей поэтики: "Разговор о Данте". Осенью того же года пишет и читает друзьям обличительные стихи о Сталине. В марте 1934 М. арестован и сослан на три года, сначала в Чердынь, затем в Воронеж. Весной 1937 возвращается в Московскую область. 1 мая 1938 — вторичный арест, заочное осуждение на пять лет лагерей, трехмесячный этап. Официальная дата и место смерти: 27 декабря 1938, транзитный лагерь, Владивосток.

В Советской России первая посмертная публикация в журнале имела место в 1962. В 1967 вышел отдельным изданием "Разговор о Данте". Неполное и единственное собрание стихов появилось в "Библиотеке поэта" лишь в 1973, когда заграничное трехтомное Собрание сочинений было уже давно закончено (Вашингтон 1964—1969; дополнительный том — Париж, 1979).

КАМЕНЬ

(1909—1915)

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить,
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.

Запечатлется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.

Пускай мгновения стекает муть —
Узора милого не зачеркнуть.

1909.

Слух чуткий парус напрягает,
Расширенный пустеет взор
И тишину переплывает
Полночных птиц незвучный хор.

Я так же беден как природа
И так же прост как небеса,
И призрачна моя свобода,
Как птиц полночных голоса.

Я вижу месяц бездыханный
И небо мертвенней холста;
Твой мир болезненный и странный
Я принимаю, пустота!

1910.

Из омута злого и вязкого
Я вырос тростинкой шурша,
И страстно, и томно, и ласково
Запретною жизнью дыша.

И никну, никем не замеченный,
В холодный и топкий приют,
Приветственным шелестом встреченный
Коротких осенних минут.

Я счастлив жестокой обидою
И в жизни, похожей на сон,
Я каждому тайно завидую
И в каждого тайно влюблен.

1910.

РАКОВИНА

Быть может, я тебе не нужен,
Ночь; из пучины мировой,
Как раковина без жемчужин,
Я выброшен на берег твой.

Ты равнодушно волны пенишь
И несговорчиво поешь;
Но ты полюбишь, ты оценишь
Ненужной раковины ложь.

Ты на песок с ней рядом ляжешь,
Оденешь ризою своей,
Ты неразрывно с нею свяжешь
Огромный колокол зыбей;

И хрупкой раковины стены,
Как нежилого сердца дом,
Наполнишь шепотами пены,
Туманом, ветром и дождем...

1911.

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
"Господи!" — сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.

1912.

NOTRE DAME

Где римский судия судил чужой народ —
Стоит базилика, и радостный и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.

Но выдает себя снаружи тайный план:
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом — дуб, и всюду царь — отвес.

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.

1912.

ТЕННИС

Средь аляповатых дач,
Где шатается шарманка,
Сам собой летает мяч,
Как волшебная приманка.

Кто, смиривший грубый пыл,
Облеченный в снег альпийский,
С резвой девушкой вступил
В поединок олимпийский?

Слишком дряхлы струны лир:
Золотой ракеты струны
Укрепил и бросил в мир
Англичанин вечно-юный!

Он творит игры обряд,
Так леко вооруженный,
Как аттический солдат,
В своего врага влюбленный!

Май. Грозových туч клочки.
Неживая зелень чахнет.

Все моторы и гудки —
И сирень бензином пахнет.

Ключевую воду пьет
Из ковша спортсмен веселый;
И опять война идет,
И мелькает локоть голый!

1913.

”Мороженоно!” Солнце. Воздушный бисквит.
Прозрачный стакан с ледяною водою.
И в мир шоколада с румяной зарею,
В молочные Альпы мечтанье летит.

Но, ложечкой звякнув, умильно глядеть,
Чтоб в тесной беседке, средь пыльных акаций,
Принять благосклонно от булочных граций
В затейливой чашечке хрупкую снедь...

Подруга шарманки, появится вдруг
Бродячего ледника пестрая крышка —
И с жадным вниманием смотрит мальчишка
В чудесного холода полный сундук.

И боги не ведают — что он возьмет:
Алмазные сливки иль вафлю с начинкой?
Но быстро исчезнет под тонкой лучинкой,
Сверкая на солнце, божественный лед.

1914.

АББАТ

О спутник вечного романа,
Аббат Флобера и Золя —
От зноя рыжая сутана
И шляпы круглые поля;
Он все еще проходит мимо,
В тумане полдня, вдоль межи,
Влача остаток власти Рима
Среди колосьев спелой ржи.

Храня молчанье и приличие,
Он должен с нами пить и есть
И прятать в светское обличье
Сияющей тонзуры честь.
Он Цицерона, на перине,
Читает, отходя ко сну:
Так птицы на своей латыни
Молились Богу в старину.

Я поклонился, он ответил
Кивком учтивым головы,
И, говоря со мной, заметил:
"Католиком умрете вы!"

Потом вздохнул: "Как нынче жарко!"
И, разговором утомлен,
Направился к каштанам парка,
В тот замок, где обедал он.

1914.

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладю когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи —
На головах царей божественная пена —
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер — все движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

1915.

Я не увижу знаменитой "Федры",
В старинном многоярусном театре,
С прокопченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.
И, равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу обращенный к рампе
Двойною рифмой оперенный стих:

— Как эти покрывала мне постылы...

Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира;
Глубокими морщинами волнуя,
Меж ним и нами занавес лежит.
Спадают с плеч классические шали,
Расплавленный страданьем крепнет голос
И достигает скорбного закала
Негодованьем раскаленный слог...

Я опоздал на празднество Расина!

Вновь шелестят истлевшие афиши,
И слабо пахнет апельсиновой коркой,
И словно из столетней летаргии —
Очнувшийся сосед мне говорит:

— Измученный безумством Мельпомены,
Я в этой жизни жажду только мира;
Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье Музы не пришли!

Когда бы грек увидел наши игры...

13 окт. 1915.

TRISTIA

(1913—1921)

На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.

А в Угличе играют дети в бабки,
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.

Не три свечи горели, а три встречи —
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече, —
И никогда он Рима не любил.

Нырjali сани в черные ухабы,
И возвращался с гульбища народ.
Худые мужики и злые бабы
Переминались у ворот.

Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли;
Царевича везут, немеет страшно тело —
И рыжую солому подожгли.

Апрель 1916.

СОЛОМИНКА

Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок
Спокойной тяжестью — что может быть печальней —
На веки чуткие спустился потолок,

Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей.

В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их — такая тишина —
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.

Нет, не соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.

Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет, не Соломинка, — Лигейя, умиранье —
Я научился вам, блаженные слова.

Дек. 1916.

Эта ночь непоправима,
А у вас еще светло.
У ворот Ерусалима
Солнце черное взошло.

Солнце желтое страшнее —
Баю баюшки баю —
В светлом храме иудеи
Хоронили мать мою.

Благодати не имея
И священства лишены,
В светлом храме иудеи
Отпевали прах жены.

И над матерью звенели
Голоса израильтян.
Я проснулся в колыбели,
Черным солнцем осиян.

1916.

Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем — и через плечо поглядела.

Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа и собаки — идешь, никого не заметишь —
Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни:
Далеко в шалаше голоса — не поймешь, не ответишь.

После чаю мы вышли в огромный коричневый сад,
Как ресницы на окнах опущены темные шторы,
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.

Я сказал: виноград как старинная битва живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке.
В каменистой Тавриде наука Эллады — и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки.

Ну, а в комнате белой как прялка стоит тишина.
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена —
Не Елена — другая — как долго она вышивала?

Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем
полный.

[август] 1917.

Еще далеко асфodelей
Прозрачно-серая весна.
Пока еще на самом деле
Шуршит песок, кипит волна.
Но здесь душа моя вступает,
Как Персефона, в легкий круг,
И в царстве мертвых не бывает
Прелестных загорелых рук.

Зачем же лодке доверяем
Мы тяжесть урны гробовой,
И праздник черных роз свершаем
Над аметистовой водой?
Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон!

Как быстро тучи пробегают
Неосвященную грядой,
И хлопья черных роз летают
Под этой ветряной луной.
И, птица смерти и рыданья,
Влачится траурной каймой
Огромный флаг воспоминанья
За кипарисною кормой.

И раскрывается с шуршанием
Печальный веер прошлых лет,
Туда, где с темным содроганьем
В песок зарылся амулет;
Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон!

1917.

А. В. Карташеву

Среди священников левитом молодым
На страже утренней он долго оставался.
Ночь иудейская сгущалась над ним
И храм разрушенный угрюмо созидался.

Он говорил: небес тревожна желтизна.
Уж над Ефратом ночь, бегите, иереи!
А старцы думали: не наша в том вина;
Се черножелтый свет, се радость Иудеи.

Он с нами был, когда на берегу ручья
Мы в драгоценный лен Субботу пеленали
И семисвещником тяжелым освещали
Ерусалима ночь и чад небытия.

Ноябрь 1917.

На страшной высоте блуждающий огонь,
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,
Твой брат, Петрополь, умирает.

На страшной высоте земные сны горят,
Зеленая звезда мерцает.
О если ты звезда — воды и неба брат,
Твой брат, Петрополь, умирает.

Чудовищный корабль на страшной высоте
Несется, крылья расправляет —
Зеленая звезда, в прекрасной нищете
Твой брат, Петрополь, умирает.

Прозрачная весна над черною Невой
Сломалась, воск бессмертья тает,
О если ты, звезда — Петрополь; город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает.

1918.

СУМЕРКИ СВОБОДЫ

Прославим, братья, сумерки свободы, —
Великий сумеречный год.
В кипящие ночные воды
Опущен грузный лес тенет.
Восходишь ты в глухие годы,
О солнце, судия, народ.

Прославим роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берет.
Прославим власти сумрачное бремя,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть, тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.

Мы в легионы боевые
Связали ласточек — и вот
Не видно солнца; вся стихия
Щебечет, движется, живет;
Сквозь сети — сумерки густые —
Не видно солнца и земля плывет.

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи.
Как плугом, океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.

Москва, май 1918.

TRISTIA

Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.
Жуют волы, и длится ожиданье,
Последний час вигилий городских,
И чту обряд той петушиной ночи,
Когда, подняв дорожной скорби груз,
Глядели вдаль заплаканные очи,
И женский плач мешался с пеньем муз.

Кто может знать при слове — расставанье,
Какая нам разлука предстоит,
Что нам сулит петушьё восклицанье,
Когда огонь в акрополе горит,
И на заре какой-то новой жизни,
Когда в сенях лениво вол жует,
Зачем петух, глашатай новой жизни,
На городской стене крылами бьет?

И я люблю обыкновенье пряжи:
Снует челнок, веретено жужжит,
Смотри, навстречу, словно пух лебяжий,
Уже босая Деция летит!

О, нашей жизни скудная основа,
Куда как беден радости язык!
Все было встарь, все повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг.

Да будет так: прозрачная фигурка
На чистом блюде глиняном лежит,
Как беличья распластанная шкурка,
Склонясь над воском, девушка глядит.
Не нам гадать о греческом Эребе,
Для женщин воск, что для мужчины медь.
Нам только в битвах выпадает жребий,
А им дано гадая умереть.

1918.

Венецйской жизни мрачной и бесплодной
Для меня значение светло.
Вот она глядит с улыбкою холодной
В голубое дряхлое стекло.

Тонкий воздух кожи. Синие прожилки.
Белый снег. Зеленая парча.
Всех кладут на кипарисные носилки,
Сонных, теплых вынимают из плаща.

И горят, горят в корзинах свечи,
Словно голубь залетел в ковчег.
На театре и на праздном вече
Умирает человек.

Ибо нет спасенья от любви и страха:
Тяжелее платины Сатурново кольцо!
Черным бархатом завешанная плаха
И прекрасное лицо.

Тяжелы твои, Венеция, уборы,
В кипарисных рамах зеркала.
Воздух твой граненый. В спальне тают горы
Голубого дряхлого стекла.

Только в пальцах роза или склянка —
Адриатика зеленая, прости!
Что же ты молчишь, скажи, венецианка,
Как от этой смерти праздничной уйти?

Черный Веспер в зеркале мерцает.
Все проходит. Истина темна.
Человек рождается. Жемчуг умирает.
И Сусанна старцев ждать должна.

1920.

ФЕОДОСИЯ

Окружена высокими холмами,
Овечьим стадом ты с горы сбегаешь,
И розовыми, белыми камнями
В сухом прозрачном воздухе сверкаешь.
Качаются разбойничьи фелюги,
Горят в порту турецких флагов маки,
Тростинки мачт, хрусталь волны упругий
И на канатах лодочки-гамаки.

На все лады, оплаканное всеми,
С утра до ночи "яблочко" поется.
Уносит ветер золотое семя —
Оно пропало — больше не вернется.
А в переулочках, чуть свечерело,
Пиликают, согнувшись, музыканты,
По-двое и по-трое, неумело,
Невероятные свои варьянты.

О горбоносых странников фигурки!
О средиземный радостный зверинец!
Расхаживают в полотенцах турки,
Как петухи у маленьких гостиниц.

Везут собак в тюрьмоподобной фуре,
Сухая пыль по улицам несется,
И хладнокровен среди базарных фурий
Монументальный повар с броненосца.

Идем туда, где разные науки,
И ремесло — шашлык и чебуреки,
Где вывеска, изображая брюки,
Дает понятие нам о человеке.
Мужской сюртук — без головы стремленье,
Цирюльника летающая скрипка
И месмерический уют — явление
Небесных прачек — тяжести улыбка.

Здесь девушки стареющие в челках
Обдумывают странные наряды,
И адмиралы в твердых треуголках
Припоминают сон Шехеразады.
Прозрачна даль. Немного винограда.
И неизменно дует ветер свежий.
Недалеко от Смирны и Багдада,
Но трудно плыть, а звезды всюду те же.

1920.

Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней вернется,
На крыльях срезанных, с прозрачными играть.
В беспамятстве ночная песнь поется.

Не слышно птиц. Бессмертник не цветет.
Прозрачны гривы табуна ночного.
В сухой реке пустой челнок плывет.
Среди кузнечиков беспамятствует слово.

И медленно растет, как бы шатер иль храм,
То вдруг прокинется безумной Антигоной,
То мертвой ласточкой бросается к ногам
С стигийской нежностью и веткою зеленой.

О если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья.
Я так боюсь рыданья аонид,
Тумана, звона и зиянья.

А смертным власть дана любить и узнавать,
Для них и звук в персты прольется,
Но я забыл, что я хочу сказать,
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.

Все не о том прозрачная твердит,
Все ласточка, подружка, Антигона ...
А на губах как черный лед горит
Стигийского воспоминанье звона.

Ноябрь 1920.

Мне Тифлис горбатый снится,
Сазандарий стон звенит,
На мосту народ толпится,
Вся ковровая столица,
А внизу Кура шумит.

Над Курюю есть духаны,
Где вино и милый плов,
И духанщик там румяный
Подает гостям стаканы
И служить тебе готов.

Кахетинское густое
Хорошо в подвале пить, —
Там в прохладе, там в покое
Пейте вдоволь, пейте двое,
Одному не надо пить.

В самом маленьком духане
Ты товарища найдешь,
Если спросишь телиани.
Поплывет Тифлис в тумане,
Ты в духане поплывешь.

Человек бывает старым,
А барашек молодым,
И под месяцем поджарым
С розоватым винным паром
Полетит шашлычный дым ...

1920.

Вот дароносица, как солнце золотое,
Повисла в воздухе — великолепный миг,
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:
Взять в руки целый мир, как яблоко простое.

Богослужения торжественный зенит,
Свет в круглой храмине под куполом в июле,
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули
О луговине той, где время не бежит.

И Евхаристия как вечный полдень длится —
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится.

[1915]

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.
В черном бархате советской ночи,
В бархате всемирной пустоты,
Все поют блаженных жен родные очи,
Все цветут бессмертные цветы.

Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит,
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.
Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь:
За блаженное бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь.

Слышу легкий театральный шорох
И девическое "ах" —
И бессмертных роз огромный ворох
У Киприды на руках.
У костра мы греемся от скуки,
Может быть века пройдут,
И блаженных жен родные руки
Легкий пепел соберут.

Где-то грядки красные партера,
Пышно взбиты шифоньерки лож;
Заводная кукла офицера;
Не для черных душ и низменных святош ...
Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи
В черном бархате всемирной пустоты,
Все поют блаженных жен крутые плечи,
А ночного солнца не заметишь ты.

25 ноября 1920.

За то, что я руки твои не сумел удержать,
За то, что я предал соленые нежные губы,
Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать.
Как я ненавижу плачущие древние срубы.

Ахейские мужи во тьме снаряжают коня,
Зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко,
Никак не уляжется крови сухая возня,
И нет для тебя ни названья, ни звука, ни слепка.

Как мог я подумать, что ты возвратишься, как смел!
Зачем преждевременно я от тебя оторвался!
Еще не рассеялся мрак и петух не пропел,
Еще в древесину горячий топор не врезался.

Прозрачной слезой на стенах проступила смола,
И чувствует город свои деревянные ребра,
Но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла,
И трижды приснился мужам соблазнительный образ.

Где милая Троя? где царский, где девичий дом?
Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник.
И падают стрелы сухим деревянным дождем,
И стрелы другие растут на земле, как орешник.

Последней звезды безболезненно гаснет укол,
И серою ласточкой утро в окно постучится,
И медленный день, как в соломе проснувшийся вол
На стогнах шершавых от долгого сна шевелится.

Декабрь 1920.

Я наравне с другими
Хочу тебе служить,
От ревности сухими
Губами ворожить.
Не утоляет слово
Мне пересохших уст,
И без тебя мне снова
Дремучий воздух пуст.

Я больше не ревную,
Но я тебя хочу,
И сам себя несу я
Как жертву палачу.
Тебя не назову я
Ни радость, ни любовь;
На дикую, чужую
Мне подменили кровь.

Еще одно мгновенье,
И я скажу тебе:
Не радость, а мученье
Я нахожу в тебе.
И, словно преступленье,
Меня к тебе влечет
Искусанный, в смятеньи,
Вишневый нежный рот.

Вернись ко мне скорее:
Мне страшно без тебя,
Я никогда сильнее
Не чувствовал тебя,
И все, чего хочу я,
Я вижу наяву.
Я больше не ревную,
Но я тебя зову.

1920.

Люблю под сводами седья тишины
Молебнов, панихид блужданье,
И трогательный чин, ему же все должны —
У Исаака отпеванье.

Люблю священника неторопливый шаг,
Широкий вынос плащаницы
И в ветхом неводе Генисаретский мрак
Великопостныя седмицы.

Ветхозаветный дым на теплых алтарях
И иерея возглас сирый,
Смиренник царственный: снег чистый на плечах
И одичалые порфиры.

Соборы вечные Софии и Петра,
Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского добра
И риги Нового Завета.

Не к вам влечется дух в години тяжких бед,
Сюда влачится по ступеням
Широкопасмурным несчастья волчий след,
Ему вовеки не изменим:

Зане свободен раб, преодолевший страх,
И сохранилось свыше меры
В прохладных житницах, в глубоких закромах
Зерно глубокой, полной веры.

1921.

СТИХИ
(1921—1925)

КОНЦЕРТ НА ВОКЗАЛЕ

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но видит Бог, есть музыка над нами,
Дрожит вокзал от пенья аонид
И снова, паровозными свистками
Разорванный, скрипичный воздух слит.

Огромный парк. Вокзала шар стеклянный.
Железный мир опять заморожен.
На звучный пир в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон.
Павлиний крик и рокот фортепьянный —
Я опоздал. Мне страшно. Это сон.

И я вхожу в стеклянный лес вокзала,
Скрипичный строй в смятеньи и слезах.
Ночного хора дикое начало,
И запах роз в гниющих парниках,
Где под стеклянным небом ночевала
Родная тень в кочующих толпах.

И мнится мне: весь в музыке и пене
Железный мир так нищенски дрожит,
В стеклянные я упираюсь сени;
Горячий пар зрачки смычков слепит.
Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит.

1921.

Умывался ночью на дворе —
Твердь сияла грубыми звездами.
Звездный луч, как соль на топоре,
Стынет бочка с полными краями.

На замок закрыты ворота,
И земля по совести сурова, —
Чище правды свежего холста
Вряд ли где отыщется основа.

Тает в бочке, словно соль, звезда,
И вода студеная чернее,
Чище смерть, соленее беда,
И земля правдивей и страшнее.

1921.

С розовой пеной усталости у мягких губ
Яростно волны зеленые роет бык,
Фыркает, гребли не любит — женолюб,
Ноша хребту непривычна, и труд велик.

Изредка выскочит дельфина колесо
Да повстречается морской колючий еж,
Нежные руки Европы — берите все,
Где ты для выи желанней ярмо найдешь.

Горько внимает Европа могучий плеск,
Тучное море кругом закипает в ключ,
Видно, страшит ее вод маслянистых блеск,
И соскользнуть бы хотелось с шершавых круч.

О, сколько раз ей милее уключин скрип,
Лоном широкая палуба, гурт овец,
И за высокой кормою мельканье рыб —
С нею безвесельный дальше плывет гребец!

Май 1922.

Холодок щекочет темя
И нельзя признаться вдруг, —
И меня срезает время,
Как скосило твой каблук.

Жизнь себя перемогает,
Понемногу тает звук,
Все чего-то нехватает,
Что-то вспомнить недосуг.

А ведь раньше лучше было,
И пожалуй не сравнишь,
Как ты прежде шелестила,
Кровь, как нынче шелестишь.

Видно даром не проходит
Шевеленье этих губ,
И вершина колобродит,
Обреченная на сруб.

1922.

ВЕК

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней.

Тварь, покуда жизнь хватает,
Донести хребет должна,
И невидимым играет
Позвоночником волна.
Словно нежный хрящ ребенка —
Век младенческой земли,
Снова в жертву, как ягнелка,
Темя жизни принесли.

Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.

Это век волну колышит
Человеческой тоской,
И в траве гадюка дышит
Мерой века золотой.

И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век.
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.

Окт. 1922.

ГРИФЕЛЬНАЯ ОДА

Звезда с звездой — могучий стык,
Кремнистый путь из старой песни,
Кремня и воздуха язык,
Кремень с водой, с подковой перстень,
На мягком сланце облаков
Молочный грифельный рисунок —
Не ученичество миров,
А бред овечьих полусонок.

Мы стоя спим в густой ночи
Под теплой шапкою овечьей.
Обратно в крепь родник журчит
Цепочкой, пеночкой и речью.
Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг
Свинцовой палочкой молочной,
Здесь созревает черновик
Учеников воды проточной.

Крутые козьи города;
Кремней могучее слоенье:
И все-таки еще гряда —
Овечьи церкви и селенья!

Им проповедует отвес,
Вода их учит, точит время,
И воздуха прозрачный лес
Уже давно пресыщен всеми.

Как мертвый шершень, возле сот,
День пестрый выметен с позором.
И ночь-коршунница несет
Горящий мел и грифель кормит.
С иконоборческой доски
Стереть дневные впечатленья,
И, как птенца, стряхнуть с руки
Уже прозрачные виденья!

Плод нарывал. Зрел виноград.
День бушевал, как день бушует.
И в бабки нежная игра,
И в полдень злых овчарок шубы;
Как мусор с ледяных высот —
Изнанка образов зеленых —
Вода голодная течет,
Крутясь, играя, как звереныш,

И как паук ползет ко мне,
Где каждый стык луной обрызган,
На изумленной крутизне
Я слышу грифельные визги.
Твои ли, память, голоса
Учительствуют, ночь ломая,

Бросая грифели лесам,
Из птичьих клювов вырывая?

Мы только с голоса пойдем,
Что там царапалось, боролось,
И черствый грифель поведем
Туда, куда укажет голос.
Ломаю ночь, горящий мел,
Для твердой записи мгновенной.
Меняю шум на пенье стрел,
Меняю строй на трепет гневный.

Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик:
Двурушник я, с двойной душой.
Я ночи друг, я дня застрельщик.
Блажен, кто называл кремень
Учеником воды проточной.
Блажен, кто завязал ремень
Подошве гор на твердой почве.

И я теперь учу дневник
Царапин грифельного лета,
Кремня и воздуха язык
С прослойкой тьмы, с прослойкой света,
И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в язву, заключая в стык
Кремень с водой, с подковой перстень.

1923.

1 ЯНВАРЯ 1924

Кто время целовал в измученное темя —
С сыновьей нежностью потом
Он будет вспоминать, как спать ложилось время
В сугроб пшеничный за окном.
Кто веку поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших —
Он слышит вечно шум, когда взрехали реки
Времен обманных и глухих.

Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.
Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
Еще немного, — оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.

О глиняная жизнь! О умиранье века!
Боюсь, лишь тот поймет тебя,
В ком беспомощная улыбка человека,
Который потерял себя.

Какая боль — искать потерянное слово,
Больные веки поднимать
И с известью в крови, для племени чужого
Ночные травы собирать.

Век. Известковый слой в крови больного сына
Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь,
И некуда бежать от века-властелина ...
Снег пахнет яблоком, как встарь.
Мне хочется бежать от моего порога.
Куда? На улице темно,
И, словно сыплют соль мощеною дорогой,
Белеет совесть предо мной.

По переулочкам, скворешням и застрехам,
Недалеко собравшись как-нибудь,
Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом,
Все силюсь полость застегнуть.
Мелькает улица, другая,
И яблоком хрустит саней морозных звук,
Не поддается петелька тугая,
Все время валится из рук.

Каким железным, скобяным товаром
Ночь зимняя гремит по улицам Москвы.
То мерзлой рыбою стучит, то хлещет паром
Из чайных розовых — как серебром плотвы.
Москва — опять Москва. Я говорю ей: "здравствуй!
Не обессудь, теперь уж не беда,

По старине я уважаю братство
Мороза крепкого и щучьего суда”.

Пылает на снегу аптечная малина
И где-то щелкнул ундервуд;
Спина извозчика и снег на пол-аршина:
Чего тебе еще? Не тронут, не убьют.
Зима-красавица и в звездах небо козье
Рассыпалось и молоком горит,
И конским волосом о мерзлые полозья
Вся полость трется и звенит.

А переулочки коптили керосинкой,
Глотали снег, малину, лед,
Все шелушится им советской сонатинкой,
Двадцатый вспоминая год.
Ужели я предам позорному злословью —
Вновь пахнет яблоком мороз —
Присягу чудную четвертому сословью
И клятвы крупные до слез?

Кого еще убьешь? Кого еще прославишь?
Какую выдумаешь ложь?
То ундервуда хрящ: скорее вырви клавиш —
И щучью косточку найдешь;
И известковый слой в крови больного сына
Растает, и блаженный брызнет смех ...
Но пишущих машин простая сонатина —
Лишь тень сонат могучих тех.

1924.

Нет, никогда ничей я не был современник,
Мне не с руки почет такой.
О как противен мне какой-то соименник,
То был не я, то был другой.

Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.

Я с веком поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших,
И мне гремучие рассказывали реки
Ход воспаленных тяжб людских.

Сто лет тому назад подушками белела
Складная легкая постель,
И странно вытянулось глиняное тело, —
Кончался века первый хмель.

Среди скрипучего похода мирового
Какая легкая кровать.
Ну что же, если нам не выковать другого,
Давайте с веком вековать.

И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке
Век умирает — а потом
Два сонных яблока на роговой облатке
Сияют перистым огнем.

1924.

Вы, с квадратными окошками невысокие дома —
Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима.

И торчат, как шуки ребрами, незамерзшие катки,
И еще в прихожих слепеньких валяются коньки.

А давно ли по каналу плыл с красным обжигом гончар,
Продавал с гранитной лесенки добросовестный товар.

Ходят боты, ходят серые у гостиного двора,
И сама собой сдирается с мандаринов кожура.

И в мешочке кофий жареный, прямо с холоду домой,
Электрической мельницей смолот мокко золотой.

Шоколадные, кирпичные, невысокие дома.
Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима.

И приемные с роялями, где по креслам рассадив,
Доктора кого-то потчуют ворохами старых "Нив".

После бани, после оперы, все равно, куда ни шло.
Бестолковое последнее трамвайное тепло.

17 дек. 1924.

Сегодня ночью, не солгу,
По пояс в тающем снегу
Я шел с чужого полустанка.
Гляжу — изба: вошел в сенцы,
Чай с солью пили чернецы,
И с ними балует цыганка.

У изголовья вновь и вновь
Цыганка вскидывает бровь,
И разговор ее был жалок:
Она сидела до зари
И говорила: подари
Хоть шаль, хоть что, хоть полушалок.

Того, что было, не вернешь,
Дубовый стол, в солонке нож,
И вместо хлеба еж брюхатый;
Хотели петь — и не смогли,
Хотели встать — дугой пошли
Через окно на двор горбатый.

И вот проходит полчаса,
И гарнцы черного овса
Жуют, похрустывая, кони;
Скрипят ворота на заре,
И запрягают на дворе;
Теплеют медленно ладони.

Холщевый сумрак поредел.
С водою разведенный мел,
Хоть даром, скука разливает,
И сквозь прозрачное рядно
Молочный день глядит в окно,
И золотушный грач мелькает.

1925.

Жизнь упала как зарница,
Как в стакан воды ресница,
Изолгавшись на корню —
Никого я не виню ...

Хочешь яблока ночного,
Сбитню свежего, крутого,
Хочешь, валенки сниму,
Как пушинку, подниму?

Ангел в светлой паутине
В золотой стоит овчине,
Свет фонарного луча
До высокого плеча.

Разве кошка, встрепенувшись,
Диким зайцем обернувшись,
Вдруг простегивает путь,
Исчезает где-нибудь ...

Как дрожала губ малина,
Как поила чаем сына,
Говорила наугад,
Ни к чему и невпопад ...

Как нечаянно запнулась,
Изолгалась, улыбнулась
Так, что вспыхнули черты
Неуклюжей красоты.

Есть за куколем дворцовым
И за кипенем садовым
Заресничная страна —
Там ты будешь мне жена.

Выбрав валенки сухие
И тулупы золотые,
Взявшись за руки вдвоем,
Той же улицей пойдем.

Без оглядки, без помехи
На сияющие вежи —
От зари и до зари
Налитые фонари.

Январь 1925.

МОСКОВСКИЕ СТИХИ

(1930—1934)

Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!

Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!

А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом ...

Да видно нельзя никак.

Октябрь 1930. Тифлис.

АРМЕНИЯ

Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло,
Всех-то цветов мне осталось лишь сурик да хриплая
охра.

И почему-то мне начало утро армянское сниться,
Думал — возьму посмотрю, как живет в Эривани
сеница,

Как нагибается булочник, с хлебом играющий в
жмурки,
Из очага вынимает лавашные влажные шкурки ...

Ах, Эривань, Эривань! Иль птица тебя рисовала,
Или раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала?

Ах, Эривань, Эривань! Не город — орешек каленый,
Улиц твоих большепотых кривые люблю вавилоны.

Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран,
замусолил,
Время свое заморозил и крови горячей не пролил.

Ах, Эривань, Эривань, ничего мне больше не надо,
Я не хочу твоего замороженного винограда!

21 окт. 1930.

АРМЕНИЯ

Лазурь да глина, глина да лазурь,
Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь,
Как близорукий шах над перстнем бирюзовым,
Над книгой звонких глин, над книжною землей,
Над гнойной книгою, над глиной дорогой,
Которой мучимся как музыкой и словом.

16 сент. — 5 ноября 1930 г.

Тифлис.

ЛЕНИНГРАД

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда — так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей!

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Декабрь 1930. Ленинград.

Мы с тобой на кухне посидим.
Сладко пахнет белый керосин.

Острый нож, да хлеба каравай...
Хочешь, примус туго накачай,

А не то веревок собери
Завязать корзину до зари,

Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.

Январь 1931, Ленинград.

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой!

Там где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота.

Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну, а мне соленой пеной
По губам!

По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет —
Нищета.

Ой-ли, так ли, — дуй ли, вей ли, —
Все равно —
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино!

Я скажу тебе с последней
Прямотой —
Все лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой!

Март 1931, Москва,
Зоологич. Музей.

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей, —

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

17—28 марта 1931.

Колют ресницы. В груди прикипела слеза.
Чую без страха, что будет и будет гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть. —
Душно, и все-таки до смерти хочется жить.

С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,
Дико и сонно еще озираясь вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.

Март 1931. Москва.

Я пью за военные астры, за все, чем корили меня:
За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского
дня,

За музыку сосен савойских, Полей Елисейских бензин,
За розы в кабине ролс-ройса, за масло парижских
картин.

Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских
кувшин,
За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин,

Я пью, но еще не придумал, из двух выбираю одно:
Веселое асти-спуманте иль папского замка вино ...

11 апреля 1931.

А. А. А [хматовой]

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.
Так вода в новгородских колодцах должна быть черна
и сладима,
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками
звезда.

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,
Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье —
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.

Лишь бы только любили меня эти древние плахи!
Как нацелясь на смерть городки зашибают в саду,
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубаше
И для казни петровской в лесу топорщице найду.

3 мая 1931. Хмельницкая.

ФАЭТОНЩИК

На высоком перевале,
В мусульманской стороне
Мы со смертью пировали —
Было страшно, как во сне.

Нам попался фаэтонщик,
Пропеченный, как изюм,
Словно дьявола поденщик,
Односложен и угрюм.

То гортанный крик араба,
То бессмысленное "цо",
Словно розу или жабу,
Он берег свое лицо.

Под кожевенною маской
Скрыв ужасные черты,
Он куда-то гнал коляску
До последней хрипоты.

И пошли толчки-разгоны,
И не слезть было с горы —
Закружились фаэтоны,
Постоялые дворы ...

Я очнулся: стой, приятель!
Я припомнил, черт возьми, —
Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми.

Он безносой канителью
Правит, душу веселя,
Чтоб крутилась каруселью
Кислосладкая земля.

Так в нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше,
Я изведаль эти страхи,
Соприродные душе.

Сорок тысяч мертвых окон
Там глядят со всех сторон,
И труда бездушный кокон
На горе похоронен.

И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома,
А над ними неба мреет
Темносиняя чума.

Июнь 1931.

Еще далеко мне до патриарха,
Еще на мне полупочтенный возраст,
Еще меня ругают за глаза
На языке трамвайных перебранок,
В котором нет ни смысла, ни аза:
— Такой, сякой! — Ну что ж, я извиняюсь,
Но в глубине ничуть не изменяюсь ...

Когда подумаешь, чем связан с миром,
То сам себе не веришь: ерунда.
Полночный ключик от чужой квартиры,
Да гривенник серебряный в кармане,
Да целлулоид фильмы воровской ...

Я, как щенок, бросаюсь к телефону
На каждый истерический звонок, —
В нем слышно польское: "Дзенкуе, пане!" —
Иногородний ласковый упрек
Иль неисполненное обещанье.

Все думаешь: к чему бы приохотиться
Посреди хлопшек и шутих —
Перекипишь, — а там, гляди, останется —
Одна сумятица да безработица —
Пожалуйста, прикуривай у них!

То усмехнусь, то робко приосанюсь
И с белокурой тростью выхожу —
Я слушаю сонаты в переулках,
У всех лотков облизываю губы,
Листаю книги в глыбких подворотнях
И не живу, но все-таки живу.

Я к воробьям пойду и к репортерам,
Я к уличным фотографам пойду,
И в пять минут, лопатой из ведерка,
Я получу свое изображение
Под конусом лиловой Шах-горы.

Или еще пушусь на побегушки
В распаренные душевные подвалы,
Где чистые и честные китайцы
Хватают палочками шарики из теста,
Играют в узкие нарезанные карты
И водку пьют, как ласточки с Ян-Цзы.

Люблю разъезды скворчащих трамваев
И астраханскую икру асфальта,
Накрытого соломенной рогожей,
Напоминающей корзинку асти,
И страусовые перья арматуры
В начале стройки ленинских домов.

Вхожу в вертепы чудные музеев,
Где пучатся кашеевы Рембрандты,
Достигнув блеска кордованской кожи;
Дивлюсь рогатым митрам Тициана
И Тинторетто пестрому дивлюсь
За тысячу крикливых попугаев ...

И до чего хочу я разыгаться,
Разговориться, выговорить правду,
Послать хандру к туману, к бесу, к ляду,
Взять за руку кого-нибудь: — будь ласков, —
Сказать ему, — нам по пути с тобой ...

Июль-сентябрь 1931. Москва.

ЛАМАРК

Был старик, застенчивый как мальчик,
Неуклюжий, робкий патриарх ...
Кто за честь природы фехтовальщик?
Ну, конечно, пламенный Ламарк.

Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

К кольцецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав среди ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет — ты зришь в последний раз.

Он сказал: довольно полнозвучья, —
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.

И от нас природа отступила —
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.

И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех ...

7—9 мая 1932.

ПОЛНОЧЬ В МОСКВЕ

Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето.
С дроботом мелким расходятся улицы в чоботах
узких железных.

В черной оспе блаженствуют кольца бульваров,
Нет на Москву и ночью угомону.

Когда покой бежит из-под копыт,
Ты скажешь — где-то там, на полигоне,
Два клоуна засели — Бим и Бом,
И в ход пошли грёбенки, молоточки.
То слышится гармоника губная,
То детское молочное пьянино —
До-ре-ми-фа
И соль-фа-ми-ре-до ...

Бывало я, как помоложе, выйду
В проклеенном резиновом пальто
В широкую разлапицу бульваров,
Где спичечные ножки цыганочки в подоле бьются
длинном,
Где арестованный медведь гуляет —
Самой природы вечный меньшевик.
И пахло до отказу лавровишней ...
Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен ...

Я подтяну бутылочную гирьку
Кухонных, крупноскокающих часов.
Уж до чего шероховато время,
А все-таки люблю за хвост его ловить:
Ведь в беге собственном оно не виновато,
Да, кажется, чуть-чуть жуликовато.

Чур! Не просить, не жаловаться! Цыц!
Не хныкать!

Для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?
Мы умрем, как пехотинцы,
Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи!
Есть у нас паутинка шотландского старого пледа, —
Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда
я умру.
Выпьем, дружок, за наше ячменное горе, —
Выпьем до дна!..

Из густо отработавших кино,
Убитые, как после хлороформа,
Выходят толпы. До чего они венозны,
И до чего им нужен кислород!

Пора вам знать, я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея,
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать! —
Ручаюсь вам, себе свернете шею!

Я говорю с эпохой, но разве
Душа у ней пеньковая и разве
Она у нас постыдно прижилась,
Как сморщенный зверек в тибетском храме, —
Почешется и в цинковую ванну —
Изобрази еще нам, Марь Иванна!

Пусть это оскорбительно — поймите:
Есть блуд труда, и он у нас в крови.

Уже светает. Шумят сады зеленым телеграфом.
К Рембрандту входит в гости Рафаэль.
Он с Моцартом в Москве души не чаёт —
За карий глаз, за воробьиный хмель.
И словно пневматическую почту
Иль студенец медузы черноморской
Передают с квартиры на квартиру
Конвейером воздушным сквозняки,
Как майские студенты-шелапуты ...

Май — 4 июня 1932.

БАТЮШКОВ

Словно гуляка с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мною живет —
По переулкам шагает в Замостье,
Нюхает розу и Зафну поет.

Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему:
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму.

Он усмехнулся. Я молвил — спасибо, —
И не нашел от смущения слов:
Ни у кого — этих звуков изгибы,
И никогда — этот говор валов ...

Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес —
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.

И отвечал мне оплакавший Тасса:
— Я к величаньям еще не привык;
Только стихов виноградное мясо
Мне освежило случайно язык.

Что ж, поднимай удивленные брови,
Ты, горожанин и друг горожан, —
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан ...

18 июня 1932. Москва.

СТИХИ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ

С. А. К.

Полюбил я лес прекрасный,
Смешанный, где козырь — дуб,
В листьях клена — перец красный,
В иглах — еж — черноголуб.

Там фисташковые молкнут
Голоса на молоке,
И когда захочешь щелкнуть,
Правды нет на языке.

Там живет народец мелкий —
В желудевых шапках все —
И белок кровавый белки
Крутят в страшном колесе.

Там щавель, там вымя птичье,
Хвой павлинья кутерьма, —
Ротозейство и величье
И скорлупчатая тьма.

Тычут шпагами шишиги,
В треуголках носачи,
На углях читают книги
С самоваром палачи.

А еще грибы волнушки
В сбруе тонкого дождя
Вдруг подымутся с опушки
Так ... немного погода ...

Там без выгоды уроды
Режутся в девятый вал, —
Храп коня и крап колоды —
Кто кого? Пошел развал ...

И деревья — брат на брата —
Восстают: понять спеши:
До чего аляповаты,
До чего как хороши ...

3—7 июля 1932. Москва.

Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть —
Ведь все равно ты не сумеешь стекла зубами укусить!

Ведь умирающее тело и мыслящий бессмертный рот
В последний раз перед разлукой чужое имя не спасет.

О, как мучительно дается чужого клетота почет —
За беззаконные восторги лихая плата стережет.

Что если Ариост и Тассо, обворожающие нас,
Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных
глаз.

И в наказание за гордыню, неисправимый звуколюб,
Получишь уксусную губку ты для изменнических губ.

Старый Крым, май 1933.

Холодная весна. Голодный Старый Крым,
Как был при Врангеле — такой же виноватый.
Овчарки на дворе, на рубищах заплаты,
Такой же серенький, кусающийся дым.

Все так же хороша рассеянная даль,
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят как пришлые, и вызывает жалость
Вчерашней глупостью украшенный миндаль.

Природа своего не узнает лица,
А тени страшные — Украины, Кубани ...
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца.

Старый Крым, май 1933.

Квартира тиха, как бумага —
Пустая без всяких затей —
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей.

Имущество в полном порядке,
Лягушкой застыл телефон,
Видавшие виды манатки
На улицу просятся вон.

А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать —
А я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть ...

Наглей комсомольской ячейки
И вузовской песни наглей,
Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей.

Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю,
И грозное баюшки-баю
Кулацкому паю пою.

Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель
Достоин такого рожна.

Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель —
Такую ухлопает моль ...

И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намек,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.

Давай же с тобой, как на плахе,
За семьдесят лет, начинать —
Тебе, старику и неряхе,
Пора сапогами стучать.

И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.

Ноябрь 1933.
Москва, Фурманов переулок.

ВОСЬМИСТИШИЯ

I

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох —
И так хорошо мне и тяжело,
Когда приближается миг —
И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.

Ноябрь 1933, Москва.

II

О, бабочка, о, мусульманка,
В разрезанном саване вся —
Жизняночка и умираючка,
Такая большая, сия!
С большими усами кусава
Ушла с головою в бурнус.
О, флагом развернутый саван, —
Сложи свои крылья — боюсь!

Ноябрь 1933, Москва.

III

Шестого чувства крохотный придаток
Иль ящерицы теменной глазок,
Монастыри улиток и створчаток,
Мерцающих ресничек говорок.
Недостижимое, как это близко!
Ни развязать нельзя, ни посмотреть, —
Как будто в руку вложена записка
И на нее немедленно ответь.

Май 1932, Москва.

IV

Преодолев затверженность природы,
Голуботвердый глаз проник в ее закон,
В земной коре юродствуют породы,
И как руда из груди рвется стон.
И тянется глухой недоразвиток,
Как бы дорогой, согнутою в рог, —
Понять пространства внутренних избыток
И лепестка и купола залог.

Январь 1934, Москва.

V

Когда уничтожив набросок,
Ты держишь прилежно в уме
Период без тягостных сносок,
Единый во внутренней тьме, —
И он лишь на собственной тяге,
Зажмурившись, держится сам —
Он так же отнесся к бумаге,
Как купол к пустым небесам.

Ноябрь 1933, Москва.

VI

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьей гамме,
И Гете, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.
Быть может, прежде губ уже родился шепот
И в бездревесности кружились листья,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.

Январь 1934, Москва.

VII

И клена зубчатая лапа
Купается в круглых углах,
И можно из бабочек крапа
Рисунки слагать на стенах.
Бывают мечети живые,
И я догадался сейчас:
Быть может, мы — Айя-София
С бесчисленным множеством глаз.

Ноябрь 1933—январь 1934, Москва.

VIII

Скажи мне, чертежник пустыни,
Сыпучих песков геометр,
Ужели безудержность линий
Сильнее, чем дующий ветер?
— Меня не касается трепет
Его иудейских забот —
Он опыт из лепета лепит
И лепет из опыта пьет.

Ноябрь 1933, Москва.

IX

В игольчатых, чумных бокалах
Мы пьем наваждение причин,
Касаемся крючьями малях,
Как легкая смерть, величин.
И там, где сцепились бирюльки,
Ребенок молчанье хранит —
Большая вселенная в люльке
У маленькой вечности спит.

Ноябрь 1933, Москва.

X

И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин,
И мнимое рву постоянство
И самосознание причин.
И твой, бесконечность, учебник
Читаю один, без людей —
Безлиственный, дикий лечебник, —
Задачник огромных корней.

Ноябрь 1933, Москва.

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца, —
Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны.

Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

А вокруг его сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.

Как подковы кует за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него, — то малина
И широкая грудь осетина.

[Ноябрь 1933]

Памяти Андрея Белого.

Голубые глаза и горящая лобная кость —
Мировая манила тебя молодящая злость.

И за то, что тебе суждена была чудная власть,
Положили тебя никогда не судить и не клясть.

На тебя надевали тиару — юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак.

Как снежок на Москве заводил кавардак гоголек,
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легóк.

Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,
Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец ...

Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей
Под морозную пыль образуемых вновь падежей.

Часто пишется — казнь, а читается правильно — песнь:
Может быть, простота — уязвимая смертью болезнь?

Прямизна нашей мысли не только пугач для детей:
Не бумажные дести, а вести спасают людей.

Как стрекозы садятся, не чуя воды, в камыши,
Налетели на мертвого жирные карандаши.

На коленях держали для славных потомков листы —
Рисовали, просили прощенья у каждой черты.

Меж тобой и страной ледяная рождается связь —
Так лежи, молодежь и лежи, бесконечно прямась.

Да не спросят тебя молодые, грядущие — те —
Каково тебе там — в пустоте, в чистоте, — сироте!

10 января 1934, Москва.

Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч, —
Усмирен мужской опасный нором,
Не звучит утопленница-речь.

Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры. На, возьми
Их — бесшумно окающих ртами, —
Полухлебом плоти накорми.

Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков:
В теплом теле ребрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.

Взмахом бровки мечен путь опасный.
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче-красный,
Этот жалкий полумесяц губ?

Не серчай, турчанка дорогая,
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь,
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.

Ты, Мария — гибнущим подмога.
Надо смерть предупредить, уснуть.
Я стою у твердого порога.
Уходи. Уйди. Еще побудь ...

Февраль 1934. Москва.

ВОРОНЕЖСКИЕ ТЕТРАДИ

(1935—1937)

ЧЕРНОЗЕМ

Переуважена, перечерна, вся в холе,
Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,
Вся рассыпаючись, вся образуя хор, —
Комочки влажные моей земли и воли ...

В дни ранней пахоты черна до синевы,
И безоружная в ней зиждится работа —
Тысячехолмия распаханной молвы:
Знать, безокружное в окружности есть что-то ...

И все-таки земля — проруха и обух.
Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай,
Гниющей флейтою настраживает слух,
Кларнетом утренним зазябливает ухо ...

Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь молчит в апрельском провороте!
Ну здравствуй, чернозем, будь мужествен, глазаст...
Черноречивое молчание в работе.

Апрель 1935, Воронеж.

Наушники, наушнички мои,
Попомню я воронежские ночи:
Недопитого голоса аи
И в полночь с Красной площади гудочки ...

Ну, как метро? Молчи, в себе таи,
Не спрашивай, как набухают почки ...
А вы, часов кремлевские бои —
Язык пространства, сжатого до точки.

Апрель 1935, Воронеж.

Пусти меня, отдай меня, Воронеж, —
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь —
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож!

Апрель 1935, Воронеж.

Эта, какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова! —
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного.
Нрава он не был лилейного,
И потому эта улица,
Или, верней, эта яма —
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама.

Апрель 1935, Воронеж.

КАМА

Как на Каме-реке глазу темно, когда
На дубовых коленях стоят города.

В паутину рядясь — борода к бороде —
Жгучий ельник бежит, молодея, в воде.

Упиралась вода в сто четыре весла,
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.

Там я плыл по реке с занавеской в окне,
С занавеской в окне, с головою в огне.

И со мною жена — пять ночей не спала,
Пять ночей не спала — трех конвойных везла.

Воронеж, май, 1935.

День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток
Я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло
на дрожжах.
Сон был старше, чем слух, слух был старше, чем сон —
слитен, чуток ...
А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах ...

День стоял о пяти головах и, чумая от пляса,
Ехала конная, пешая шла чернотерхая масса:
Расширеньем арты могущества в белых ночах, — нет,
в ножах —
Глаз превращался в хвойное мясо.

На вершок бы мне синего моря, на игольное только
ушко,
Чтобы двойка конвойного времени парусами неслась
хорошо.
Сухомятная русская сказка! Деревянная ложка — ау!
Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?

Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам
дармоедов,
Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов—
Молодые любители белозубых стишков,
На вершок бы мне синего моря, на игольное только
ушко!

Поезд шел на Урал. В открытые рты нам
Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой —
За бревенчатым тыном, на ленте простынной
Умереть и вскочить на коня своего!

Июнь 1935, Воронеж.

Возможна ли женщине мертвой хвала?
Она в отчуждени и силе ...
Ее чужелюбая власть привела
К насильственной жаркой могиле.

И твердые ласточки круглых бровей
Из гроба ко мне прилетели
Сказать, что они отлежались в своей
Холодной стокгольмской постели.

И прадеда скрипкой гордился твой род,
От шейки ее хорошея,
И ты раскрывала свой маленький рот,
Смеясь, итальянсья, русея ...

Я тяжкую память твою берегу —
Дичок, медвежонок, Миньона —
Но мельниц колеса зимуют в снегу,
И стынет рожок почтальона.

3 июня 1935—14 декабря 1936, Воронеж.

— Нет, не мигрень, но подай карандашик менто-
ловый —
Ни поволоки искусства, ни красок пространства
веселого ...

Жизнь начиналась в корыте картовою мокрою
шепотью
И продолжалась она керосиновой мягкой копотью.

Где-то на даче потом, в лесном переплете шагре-
невом,
Вдруг разгорелась она почему-то огромным пожаром
сиреневым.

— Нет, не мигрень, но подай карандашик менто-
ловый —
Ни поволоки искусства, ни красок пространства
веселого ...

Дальше, сквозь стекла цветные, сощурясь, мучительно
вижу я:
Небо как палица грозное, земля словно плешина
рыжая ...

Дальше еще не припомню — и дальше как будто
оборвано,
Пахнет немного смолою да, кажется, тухлою вор-
ваньё ...

— Нет, не мигрень, но холод пространства бесполого,
Свист разрываемой марли да рокот гитары карбо-
ловой ...

23 апр.—июнь 1935. Воронеж.

Бежит волна — волной волне хребет ломая,
Кидаясь на луну в невольничьей тоске,
И янычарская пучина молодая —
Неусыпленная столица волновая —
Кривеет, мечется и роет ров в песке.

А через воздух сумрачно-хлопчатый
Неначатой стены мерещатся зубцы,
И с пенных лестниц падают солдаты
Султанов мнительных — разбрызганы, разъяты, —
И яд разносят хладные скопцы.

Июль 1935. Воронеж.

Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну.
Я хочу, чтоб мыслящее тело
Превратилось в улицу, в страну —
Позвоночное, обугленное тело,
Осознавшее свою длину.

Возгласы темнозеленой хвои —
С глубиной колодезной венки —
Тянут жизнь и время дорогое,
Опершись на смертные станки,
Обручи краснознаменной хвои —
Азбучные, круглые венки.

Шли товарищи последнего призыва
По работе в жестких небесах,
Пронесла пехота молчаливо
Восклицанья ружей на плечах.

И зенитных тысячи орудий —
Карих то зрачков иль голубых —
Шли нестройно — люди, люди, люди —
Кто же будет продолжать за них?

21 июля 1935. Воронеж.

Улыбнись, ягненок гневный, с рафаэлева холста —
На холсте уста вселенной, но она уже не та ...

В легком воздухе свирели раствори жемчужин боль.
В синий, синий цвет синели океана въелась соль ...

Цвет воздушного разбоя и пещерной густоты,
Складки бурного покоя на коленях разлиты.

На скале, черствее хлеба, молодых тростинки роц,
И плывет углами неба восхитительная мощь.

9 января 1937, Воронеж.

Мой щегол, я голову закину —
Поглядим на мир вдвоем:
Зимний день, колючий, как мякина,
Так ли жестк в зрачке твоём?

Хвостик лодкой, перья — черно-желты,
Ниже клюва в краску влит —
Сознаешь ли, до чего, щегол, ты,
До чего ты щегловит?

Что за воздух у него в надлобье:
Черн и красен, желт и бел! —
В обе стороны он в оба смотрит — в обе!
Не посмотрит, улетел.

Декабрь 1936. Воронеж.

Пластинкой тоненькой жиллета
Легко щетину спячки снять —
Полуукраинское лето
Давай с тобою вспоминать.

Вы — именитые вершины,
Дубов косматых именины,
Чсть рюисдалевых картин, —
А на почин — лишь куст один
В янтарь и мясо красных глин!

Земля бежит наверх. Приятно
Глядеть на чистые пласты
И быть хозяином объятной,
Семипалатной простоты.

Его холмы к далекой цели
Стогами легкими летели,
Его дорог степной бульвар,
Как цепь шатров в тенистый жар!
И на пожар рванулась ива,
А тополь встал самолюбиво!
Над желтым лагерем жнивья
Морозных дымов колея.

А Дон еще, как полукровка,
Сребрясь и мелко и неловко,
Воды набравши с полковша,
Терялся, что моя душа,
Когда на жесткие постели
Ложилось бремя вечеров,
И, выходя из берегов,
Деревья-бражники шумели.

15—27 декабря 1936. Воронеж.

Оттого все неудачи,
Что я вижу пред собой
Ростовщичий глаз кошачий —
Внук он зелени стоячей
И купец травы морской.

Там, где огненными щами
Угощается Кашей, —
С говорящими камнями
Он на счастье ждет гостей, —
Камни трогает клещами,
Щиплет золото гвоздей.

У него в покоях спящих
Кот живет не для игры —
У того в зрачках горящих
Клад зажмуренной горы.
И в зрачках тех леденящих,
Умоляющих, просящих
Шароватых искр пиры.

20—30 декабря 1936. Воронеж.

РОЖДЕНИЕ УЛЫБКИ

Когда заулыбается дитя
С развилкой и горести и сласти,
Концы его улыбки, не шутя,
Уходят в океанское безвластье.

Ему невыразимо хорошо,
Углами губ оно играет в славе —
И радужный уже строчится шов
Для бесконечного познания яви.

На лапы из воды поднялся материк —
Улитки рта наплыв и приближенье —
И бьет в глаза один атлантов миг:
Явленья явного в число чудес вселенья.

И цвет и вкус пространство потеряло,
Хребтом и аркою поднялся материк,
Улитка выползла, улыбка просияла,
Как два конца их радуга связала,
И в оба глаза бьет атлантов миг.

9—11 декабря 1936 — 11 января 1937.

Воронеж.

Я около Кольцова,
Как сокол закольцован,
И нет ко мне гонца,
И дом мой без крыльца.

К ноге моей привязан
Сосновый синий бор,
Как вестник без указа,
Распахнут кругозор.

В степи кочуют кочки —
И все идут, идут
Ночлеги, ночи, ночки —
Как бы слепых везут ...

1—9 января 1937. Воронеж.

Твой зрачок в небесной корке,
Обращенной вдаль и ниц,
Защищают оговорки
Слабых, чующих ресниц.

Будет он, обожествленный,
Долго жить в родной стране —
Омут ока удивленный,
Кинь его вдогонку мне!

Он глядит уже охотно
В мимолетные века —
Светлый, радужный, бесплотный,
Умоляющий пока ...

2 января 1937. Воронеж.

Дрожжи мира дорогие —
Звуки, слезы и груды —
Ударенья дождевые
Закипающей беды
И потери звуковые
Из какой вернуть руды?

В нищей памяти впервые —
Чуешь вмятины сырые,
Медной полные воды —
И идешь за ними следом,
Сам себе не мил, неведом —
И слепой и поводырь.

12—18 января 1937. Воронеж.

Что делать нам с убитостью равнин,
С протяжным голодом их чуда?
Ведь то, что мы открытостью в них мним,
Мы сами видим, засыпая, зрим, —
И все растет вопрос — куда они? откуда? —
И не ползет ли медленно по ним
Тот, о котором мы во сне кричим, —
Народов будущих Иуда?

16 января 1937. Воронеж.

Не сравнивай: живущий несравним.
С каким-то ласковым испугом
Я соглашался с равенством равнин,
И неба круг мне был недугом.

Я обращался к воздуху-слуге,
Ждал от него услуги или вести
И собирался в путь, и плывал по дуге
Неначинающихся путешествий.

Где больше неба мне — там я бродить готов —
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим — яснеющим в Тоскане.

18 января 1937. Воронеж.

Еще не умер я, еще я не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Я наслаждаюсь величием равнин
И мглой, и голодом, и вьюгой.

В прекрасной бедности, в роскошной нищете
Живу один — спокоен и утешен —
Благословенны дни и ночи те,
И сладкозвучный труд безгрешен.

Несчастен тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И беден тот, кто, сам полуживой,
У тени милостыни просит.

Январь 1937. Воронеж.

Я нынче в паутине световой —
Черноволосой, светлорусой —
Народу нужен свет и воздух голубой,
И нужен хлеб и снег Эльбруса.

И не с кем посоветоваться мне,
А сам найду его едва ли —
Таких прозрачных плачущих камней
Нет ни в Крыму, ни на Урале.

Народу нужен стих таинственно-родной,
Чтоб от него он вечно просыпался
И льнянокудрю каштановой волной —
Его дыханьем умывался.

19 января 1937. Воронеж.

Люблю морозное дыханье
И пара зимнего признание:
Я — это я, явь — это явь!

И мальчик, красный как фонарик,
Своих салазок государик
И заправила, мчится вплавь.

И я — в размолвке с миром, с волей —
Заразе саночек мирволю
В серебристых скобках, в бахромах, —

И век бы падал векши легче,
И легче векши к мягкой речке, —
Полнеба в валенках, в ногах!

24 января 1937. Воронеж.

Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок ...
От замкнутых я что ли пьян дверей? —
И хочется мычать от всех замков и скрепок.

И переулков лающих чулки,
И улиц перекошенных чуланы,
И прячутся поспешно в уголки,
И выбегают из углов угланы.

И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке,
И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке.

А я за ними ахаю, стуча
В какой-то мерзлый деревянный короб:
— Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей — разговора б!

Конец января—февраль 1937. Воронеж.

СТИХИ О НЕИЗВЕСТНОМ СОЛДАТЕ

1

Этот воздух пусть будет свидетелем —
Дальнобойное сердце его —
И в землянках всеядный и деятельный —
Океан, без окна вещество.

До чего эти звезды изветливы:
Все им нужно глядеть — для чего? —
В осужденье судьи и свидетеля,
В океан, без окна вещество.

Помнит дождь, неприветливый сеятель,
Безымянная манна его,
Как лесистые крестики метили
Океан или клин боевой.

Будут люди холодные, хилые
Убивать, холодать, голодать,
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.

Научи меня, ласточка хилая,
Разучившаяся летать,
Как мне с этой воздушной могилою
Без руля и крыла совладать?

И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет,
Как сугулого учит могила
И воздушная яма влечет.

2

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры,
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами —
Ядовитого холода ягодами —
Растяжимых созвездий шатры —
Золотые созвездий жиры.

3

Сквозь эфир десятичноозначенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число, опрозраченный
Светлой болью и молью нулей.

А за полем полей поле новое
Треугольным летит журавлем —
Весть летит светопыльной дорогой —
И от битвы вчерашней светло.

Весть летит светопыльной дорогой —
Я не Лейпциг, не Ватерлоо,
Я не Битва Народов. Я — новое, —
От меня будет свету светло.

В глубине чернораморной устрицы
Аустерлица погас огонек —
Средиземная ласточка щурится,
Вязнет чумный Египта песок.

4

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей —
И своими косыми подошвами
Луч стоит на сетчатке моей.

Миллионы убитых задешево
Притоптали тропу в пустоте,
Доброй ночи. Всего им хорошего
От лица земляных крепостей.

Неподкупное небо окопное,
Небо крупных оптовых смертей,
За тобой — от тебя — целокупное —
Я губами несусь в темноте.

За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил,
Развороченных — пасмурный, оспенный
И приниженный гений могил.

5

Хорошо умирает пехота,
И поет хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой Швейка,
И над птичьим копьём Дон-Кихота,
И над рыцарской птичьей плюсной.
И дружит с человеком калека:
Им обоим найдется работа.
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка —
Эй, товарищество — шар земной!

6

Для того ль должен череп развиваться
Во весь лоб — от виска до виска, —

Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?
Развивается череп от жизни
Во весь лоб — от виска до виска, —
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится, сам себе снится —
Чаша чаш и отчизна отчизне —
Звездным рубчиком шитый чепец —
Чепчик счастья — Шекспира отец.

7

Ясность ясеневая и зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Словно обмороками заговаривая
Оба неба с их тусклым огнем.

Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди — не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный —
Это слава другим не в пример.

Для того ль заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,
Чтобы белые звезды обратно
Чуть-чуть красные мчались в свой дом! —

И сознание свое заговаривая
Полуобморочным бытием,
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем!

Чуешь, мачеха звездного табора —
Ночь, что будет сейчас и потом?

8

Наливаются кровью аорты
И звучит по рядам шепотком:
— Я рожден в девяносто четвертом,
Я рожден в девяносто втором ...
И, в кулак зажимая истертый
Год рожденья с гурьбой и гуртом,
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году, и столетья
Окружают меня огнем.

Февраль — март 1937. Воронеж.

Как светотени мученик Рембрандт,
Я глубоко ушел в немеющее время,
Но резкость моего горящего ребра
Не охраняется ни сторожами теми,
Ни этим воином, что под грозою спят.

Простишь ли ты меня, великолепный брат,
И мастер, и отец чернозеленой теми,
Но око соколиного пера
И жаркие ларцы у полночи в гареме
Смущают не к добру, смущают без добра
Мехами сумрака взволнованное племя.

8 февраля 1937. Воронеж.

Пою, когда гортань сыра, душа суха,
И в меру влажен взор, и не хитрит сознание.
Здорово ли вино? Здоровы ли меха?
Здорово ли в крови Колхиды колыханье?
А грудь стесняется, без языка тиха:
Уже не я пою, — поет мое дыханье —
И в горных ножнах слух и голова глуха.

Песнь бескорыстная сама себе хвала,
Утеха для друзей и для врагов смола.

Песнь одноглазая, растущая из мха,
Одноголосый дар охотничьего быта,
Которую поют верхом и на верхах,
Держа дыханье вольно и открыто,
Заботясь лишь о том, чтоб честно и сердито
На свадьбу молодых доставить без греха ...

8 февраля 1937. Воронеж.

Разрывы круглых бухт и хрящ и синева,
И парус медленный, что облаком продолжен —
Я с вами разлучен, вас оценив едва:
Длинней органных фуг — горька морей трава
Ложноволосая — и пахнет долгой ложью.
Железной нежностью хмелеет голова,
И ржавчина чуть-чуть отлогий берег гложет ...
Что ж мне под голову другой песок подложен?
Ты — горловой Урал, плечистое Поволжье
Иль этот ровный край — вот все мои права, —
И полной грудью их вдыхать еще я должен.

8 февраля 1937. Воронеж.

Вооруженный зреньем узких ос,
Сосущих ось земную, ось земную,
Я чую все, с чем свидеться пришлось,
И вспоминаю наизусть и все.

И не рисую я, и не пою,
И не вожу смычком черноголосым:
Я только в жизнь впиваюсь и люблю
Завидовать могучим хитрым осам.

О, если б и меня когда-нибудь могло
Заставить, сон и смерть минуя,
Стрекало воздуха и летнее тепло
Услышать ось земную, ось земную ...

8 февраля 1937. Воронеж.

Я видел озеро, стоящее отвесно,
С разрезанною розой в колесе
Играли рыбы, дом построив пресный,
Лиса и лев боролись в челноке.

Глазели внутрь трех лающих порталов
Недуги — недруги других невоскрытых дуг,
Фиалковый пролет газель перебежала,
И башнями скала вздохнула вдруг.

И влагой напоен, восстал песчаник честный,
И средь ремесленного города-сверчка
Мальчишка-океан встает из речки пресной
И чашками воды швыряет в облака.

4 марта 1937. Воронеж.

На доске малиновой, червонной,
На кону горы Крутопоклонной,
Втридорога снегом занесенной
Высоко занесся санный, сонный
Полугород, полуберег конный,
В сбрую красных углей запряженный,
Желтою мастикой утепленный
И перегоревший в сахар жженный.

Не ищи в нем зимних масел рая,
Конькобежного фламандского уклона,
Не раскаркается здесь веселая кривая
Карличья в ушастых шапках стая! —
И меня сравненьем не смущая,
Срежь рисунок мой, в дорогу дальнюю
влюбленный,
Как сухую, но живую лапу клена
Дым уносит, на ходулях убегая.

6 марта 1937. Воронеж.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Небо вечера в стену влюбилось —
Все изранено светом рубцов —
Провалилось в нее, осветилось,
Превратилось в тринадцать голов.

Вот оно, мое небо ночное,
Пред которым как мальчик стою, —
Холодеет спина, очи ноют,
Стенобитную твердь я ловлю.

И под каждым ударом тарана
Осыпаются звезды без глаз, —
Той же вечера новые раны,
Неоконченной росписи мгла.

9 марта 1937. Воронеж.

Заблудился я в небе ... Что делать?
Тот, кому оно близко, ответь.
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть.

Не разнять меня с жизнью — ей снится
Убивать и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, глаза и глазницы
Флорентийская била тоска.

Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски —
Лучше сердце мое расколите
Вы на синего звона куски.

И когда я умру, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Чтоб раздался и шире и выше
Отклик неба во всю мою грудь.

9—19 марта 1937. Воронеж.

Украшался отборной собачиной
Египтян государственный стыд —
Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид.

Рядом с готикой жил озорючи
И плевал на паучи права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Виллон Франсуа.

18 марта 1937. Воронеж.

Гончарами велик остров синий —
Крит веселый, запекся их дар
В землю звонкую. Слышишь дельфиний
Плавников их подземный удар?

Это море легко на помине
В осчастливленной обжигом глине,
И сосуда студеная власть
Раскололась на море и глаз.

Ты отдай мне мое, остров синий,
Крит летучий, отдай мне мой труд,
И сосцами текучей богини
Напои обожженный сосуд.

Это было и пелось, синея,
Много задолго до Одиссея,
До того, как еду и питье
Называли "моя" и "мое".

Выздоровливай же, излучайся,
Волоокого неба звезда,
И летучая рыба — случайность,
И вода, говорящая "да".

Март [1937], Воронеж.

Флейты греческой тэта и йота —
Словно ей нехватало молвы —
Неизваянная, без отчета,
Зрела, маялась, шла через рвы.

И ее невозможно покинуть,
Стиснув зубы ее не унять,
И в слова языком не продвинуть,
И губами ее не размять.

А флейтист не узнает покоя —
Ему кажется, что он один,
Что когда-то он море родное
Из сиреневых вылепил глин.

Звонким шепотом честолюбивым,
Вспоминающим топотом губ
Он торопится быть бережливым,
Емлет звуки, опрятен и скуп.

Вслед за ним мы его не повторим,
Комья глины в ладонях моря,
И когда я наполнился морем,
Мором стала мне мера моя.

И свои-то мне губы не любы,
И убийство на том же корню.
И невольно на убыль, на убыль
Равнодействия флейты клоню.

7 апреля 1937. Воронеж.

Я к губам подношу эту зелень,
Эту клейкую клятву листов,
Эту клятвопреступную землю —
Мать подснежников, кленов, дубков.

Погляди, как я слепну и крепну,
Подчиняясь смиренным корням,
И не слишком ли великолепно
От гремучего парка глазам?

А квакуши, как шарики ртути,
Голосами сцепляются в шар,
И становятся ветками прутья
И молочной выдумкой — пар.

30 апреля [1937, Воронеж]

Как по улицам Киева-Вия
Ищет мужа не знаю чья жинка,
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.

Не гадают цыганочки кралам,
Не играют в Купеческом скрипки,
На Крещатике лошади пали,
Пахнут смертью господские Липки.

Уходили с последним трамваем
Прямо за город красноармейцы,
И шинель прокричала сырая:
— Мы вернемся еще, разумеете!..

Май 1937. Воронеж.

К пустой земле невольно припадая
Неравномерной сладостной походкой,
Она идет, чуть-чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодка.
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка,
И кажется, что ясная догадка
В ее походке хочет задержаться —
О том, что эта вешняя погода
Для нас праматерь гробового свода,
И это будет вечно начинаться.

Есть женщины сырой земле родные,
И каждый шаг их — гулкое рыданье,
Сопровождать умерших и впервые
Приветствовать воскресших — их призванье.
И ласки требовать у них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня — ангел, завтра — червь могильный,
А послезавтра — только очертанье.
Что было — поступь, — станет недоступно,
Цветы бессмертны. Небо целокупно.
И то, что будет — только обещанье.

4 мая 1937. Воронеж.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Никита Струве. Судьба Мандельштама.</i>	7
Об авторе. Библиографическая справка.	20

Камень (1909—1915)

Дано мне тело — что мне делать с ним...	25
Слух чуткий парус напрягает...	26
Из омута злого и вязкого...	27
Раковина	28
Образ твой, мучительный и зыбкий...	29
Notre Dame	30
Теннис	31
”Мороженоно!” Солнце. Воздушный бисквит...	33
Аббат	34
Бессонница. Гомер. Тугие паруса...	36
Я не увижу знаменитой ”Федры”...	37

Tristia (1913—1921)

На розвальнях, уложенных соломой...	41
Соломинка	42

Эта ночь непоправима...	43
Золотистого меда струя из бутылки текла...	44
Еще далеко асфodelей...	46
Среди священников левитом молодым...	48
На страшной высоте блуждающий огонь...	49
Сумерки свободы	50
Tristia	52
Сестры — тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы...	54
Венеццейской жизни мрачной и бесплодной...	55
Феодосия	57
Я слово позабыл, что я хотел сказать...	59
Мне Тифлис горбатый снится...	61
Вот дароносица, как солнце золотое...	63
В Петербурге мы сойдемся снова...	64
За то, что я руки твои не сумел удержать...	66
Я наравне с другими...	68
Люблю под сводами седья тишины...	70

Стихи (1921—1925)

Концерт на вокзале	75
Умывался ночью на дворе...	77
С розовой пеной усталости у мягких губ...	78
Холодок щекочет темя...	79
Век	80
Грифельная ода	82
1 января 1924	85
Нет, никогда ничей я не был современник...	88
Вы, с квадратными окошками невысокие дома...	90
Сегодня ночью, не солгу...	91
Жизнь упала как зарница...	93

Московские стихи (1930—1934)

Куда как страшно нам с тобой...	97
Армения	98
Армения	99
Ленинград	100
Мы с тобой на кухне посидим...	101
Я скажу тебе с последней...	102
За гремучую доблесть грядущих веков...	104
Колют ресницы. В груди прикипела слеза...	105
Я пью за военные астры, за все, чем корили меня...	106
Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...	107
Фаэтонщик	108
Еще далеко мне до патриарха...	110
Ламарк	113
Полночь в Москве	115
Батюшков	118
Стихи о русской поэзии	120
Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть...	122
Холодная весна. Голодный Старый Крым...	123
Квартира тиха, как бумага...	124
Восьмистишия	126
Мы живем, под собою не чуя страны...	131
Голубые глаза и горящая лобная кость...	132
Мастерица виноватых взоров...	134

Воронежские тетради (1935—1937)

Чернозем	139
Наушники, наушнички мои...	140

Пусти меня, отдай меня, Воронеж...	141
Эта, какая улица?..	142
Кама	143
День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...	144
Возможна ли женщине мертвой хвала?..	146
Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый...	147
Бежит волна — волной волне хребет ломая...	149
Не мучнистой бабочкою белой...	150
Улыбнись, ягненок гневный, с рафаэлева холста...	151
Мой щегол, я голову закину...	152
Пластинкой тоненькой жиллета...	153
Оттого все неудачи...	155
Рождение улыбки	156
Я около Кольцова...	157
Твой зрачок в небесной корке...	158
Дрожжи мира дорогие...	159
Что делать нам с убитостью равнин...	160
Не сравнивай: живущий несравним...	161
Еще не умер я, еще я не один...	162
Я нынче в паутине световой...	163
Люблю морозное дыханье...	164
Куда мне деться в этом январе?..	165
Стихи о неизвестном солдате	166
Как светотени мученик Рембрандт...	172
Пою, когда гортань сыра, душа суха...	173
Разрывы круглых бухт и хрящ и синева...	174
Вооруженный зреньем узких ос...	175
Я видел озеро, стоящее отвесно...	176
На доске малиновой, червонной...	177
Тайная вечеря	178

Заблудился я в небе... Что делать?..	179
Украшался отборной собачиной...	180
Гончарами велик остров синий...	181
Флейты греческой тэта и йота...	182
Я к губам подношу эту зелень...	184
Как по улицам Киева-Вия...	185
К пустой земле невольно припадая...	186

ISBN 2-85065-034-X